Евтушенко Евгений 28.01.98

ПРОЩАНИЕ С ДВАДЦАТЫМ ВЕКОМ

Книга с выдранными страницами

Евгений ЕВТУШЕНКО

Однажды в молодости мой друг Олег Целков нашел где-то на свалке в его родном Тушино зачитанный до дыр роман «Преступление и наказание» с выдранными или просто потерянными страницами. Художник, оценив это как дар судьбы, почти год таскал роман под мышкой, раскрывая то в метро, то в забегаловке, а то поутру, на продавленной любовью тахте какой-нибудь случайной подружки, принадлежащей к той части человечества, которая и не догадывается о существовании Достоевского.

Художник уверял меня, что читать книгу с выдранными страницами еще интереснее, ибо пустоты можно заполнять собственными догадками.

Считайте, что вы нашли эту мою рукопись на свалке. Она тоже похожа на роман с потерянными страницами и даже с пропущенными главами. Но они не выдраны – они просто-напросто еще не написаны.

Всю жизнь, с поспешной скрупулезностью сейсмографа, я лихорадочно записывал все подземные толчки и землетрясения двадцатого века, и порой мне было не до записывания собственного сердцебиения.

Меня называли эгоцентриком, а на самом деле я был эпицентриком. Но то, что я писал – даже не о себе, – тоже было мной. А то, что я писал, казалось, только о себе, – иногда становилось больше, чем только мной. Это как сдвоенная кардиограмма: моя и двадцатого века.

Когда мне было двадцать пять, я расстался с двадцатилетней, редкостно одаренной женщиной, которую любил больше всего на свете. Я написал стихотворение «Со мною вот что происходит», вернее, не написал, а выдохнул. Я не придавал этому стихотворению никакого «общественного значения», считая его очень личным, написанным только для нее и для меня в надежде, что оно нам поможет.

Стихотворение не помогло – было уже поздно. Но едва оно было напечатано, множество молодых людей стали переписывать его от руки, как будто я написал это о них, за них и для них. Потом оно неожиданно чарующе прозвучало по-немецки, переведенное в ГДР, и нечаянно наложилось на тему разделенности уже не двух людей, а целого народа Берлинской стеной. Позднее это, казалось бы, самое интимное стихотворение, независимо от моей воли, начало превращаться в ностальгически гражданское, когда столькие духовно близкие люди оказались географически отторгнутыми друг от друга. Его очень часто просят прочесть наши соотечественники, разбросанные сейчас по всему земному шару – и в Израиле, и в США, и в Австралии, и в Германии. А уж в так называемом ближнем зарубежье особенно горько стали звучать мои строки, написанные тогда, когда я и предположить не мог, что Советского Союза не будет.

О, кто-нибудь,
приди,
нарушь
чужих людей соединенность
и разобщенность близких душ!

Вот как личный дневник порой невольно превращается в дневник века. Невольно, но не случайно.

Выдранные или ненаписанные страницы иногда прирастают.

Родился в рубашке – в смирительной

Если пишешь стихи, достаточно вспомнить хотя бы Данте, написал и чудом пробил сквозь цензуру «Бабий Яр», «Наследники Сталина»? Только из-за развития средств связи?

Мне повезло.

Я родился в рубашке. Она оказалась смирительной, но я сумел ее разодрать...

Цензура стала моим невольным соавтором, ибо вынуждала меня быть более метафоричным, чем я на то был изначально способен, и, удушая меня как поэта, помогла мне стать больше, чем поэт. Произошло феноменальное совпадение истории и стихов.

Мандельштам писал: «Мне на плечи бросается век-волкодав». Мандельштама, да и многих других, этот век безжалостно придушил. Но тогда двадцатый век был еще молодым волкодавом, во цвете сил. К счастью для нашего поколения, когда мы, перестав быть детьми, стали молодыми, век-волкодав постарел, его зубы начали крошиться. Он еще время от времени бросался на нас, но хватка была уже не та. На наше счастье, эпоха явилась к нам не только в образе волкодава, но и в образе волчицы, выкормившей нас. Шестидесятники – это маугли социалистических джунглей. Я писал не чернилами, а молоком волчицы, спасавшей меня от шакалов.

Сегодня про нас, шестидесятников, порой сквозь зубы говорят, что наша смелость была «санкционированной». Это зависть к тому, как нас любили. Нам никто ничего не дарил – мы брали с боем каждый сантиметр территории свободы.

Обвиненные официальными «патриотами» в недостатке патриотизма «Доктор Живаго», «Летят журавли», поэзия нашего поколения, «Один день Ивана Денисовича», Сахаров на самом деле заставили весь мир взглянуть на нашу страну с уважением и ожиданием.

В этих надеждах нас многие теперь упрекают. Но еще неизвестно, будет ли человеческое лицо у нашего капитализма. Пока что на это непохоже.

А почему, собственно, мы должны ориентироваться только на социализм и капитализм? Почему не на нечто третье, еще не имеющее имени, но, может быть, уже толкающееся ножонками в лоне человечества? И социализм, и капитализм достаточно скомпрометированы. Почему бы не вспомнить сахаровскую идею конвергенции – то есть соединения всего лучшего, что было в этих системах, отвергая их пре-

Я – последний советский поэт

Бродский был первым совершенно несоветским поэтом из тех, кто родился в советское время. А я был последним советским поэтом. Но советская власть сделала все сама, чтобы выбить из меня эту «советскость».

Я принадлежу к тем шестидесятникам, которые сначала сражались с призраком Сталина при помощи призрака Ленина. Но как мы могли узнать, раздобыть архивные материалы об ином, неизвестном нам Ленине, которые пылились за семью замками? Излечение от идеализации Ленина было для меня и многих других мучительным. Но это мне предстояло понять в восьмидесятых, а не в шестидесятых. Я любил тот красный флаг, под которым воевали с фашизмом не только Василий Теркин, но и Виктор Некрасов, и Лев Копелев, и Булат Окуджава.

Я любил и до сих пор люблю «Интернационал» не как партийный гимн, а просто как песню.

Но в рефрене «кто был ничем – тот станет всем» есть опасная двусмысленность. Если тот, кто был ничем, становится всем, – это страшно. К несчастью, так случилось и после событий августа 1991 года.

Они уже все взяли

19 августа 1997 года мимо Белого дома, пыхтя, но с наслаждением отдуваясь, торжествующе двигалась молодая пара с покупкой. Оба коротенькие, толстенькие, крепенькие, краснощекенькие, – они тащили зеркало в овальной раме из карельской березы, то и дело заглядывая в него и подмигивая своим жизнерадостным отражениям.

В такт их шагам, вздрагивая и подтанцовывая, покачивался Белый дом, который, казалось, мог разбиться вместе с зеркалом, если бы они его уронили. А еще в этом зеркале на мгновение возникла стоящая с несколькими понурыми трехцветными флагами перед железной решетчатой оградой невеселая горстка людей, пришедших отмечать шестую годовщину своей победы. За шесть лет двухсоттысячная толпа, которой я когда-то читал свое стихотворение с балкона Белого дома, съежилась до этой горстки.

Краснощекенькая пара остановилась около своего новенького «Вольво», припаркованного

напророчил, он увидел только руины и пепел. Вдруг среди руин что-то блеснуло. Это были осколки фамильного зеркала.

Блок подобрал самый большой осколок и целый день ходил с ним по пепелищу.

Обросшие щетиной красногвардейцы, словно сошедшие со страниц его поэмы «Двенадцать», приказали великому поэту остановиться и подержать осколок зеркала перед ними, пока они побреются.

Пока апостолы революции в пулеметных лентах на груди крест-накрест протирали зеркало татуированными ручищами и краями тельняшек, поэт оставался в роли Хранителя Зеркала.

Что такое русская литература?

Это – разбитое войнами и революциями зеркало, чьи осколки все-таки снова срослись, сохранив в глубине все, что в нем отражалось.

ча на зеркало пенять, коли рожа крива». Но история – та редкая женщина, которая не любит смотреться в зеркало. Она все протирает и протирает его, будто может исправить свое лицо.

Сам двадцатый век девальвировал все учебники истории двадцатого века. В предсказательстве ошиблись все: и Ленин, считавший, что коммунизм неизбежен, и Троцкий с его тезисом о перманентной революции, и Сталин с его идеей реализации аракчеевского марксизма в отдельно взятой стране, и Хрущев с его обещанием вырыть капитализму могилу, и Солженицын, мрачно суливший завоевание мира коммунистами, и Горбачев, безнадежно пытавшийся спасти либерализацией антилиберальную по сути систему, и Ельцин, обещавший выкорчевать все привилегии. Но ленинизирован-

Неостановимость крови – гемофилия – это национальная болезнь России. Феодальный социализм, убив царевича Алексея, вместо него стал наследником престола, унаследовав гемофилию.

Демократия у нас пока тоже феодальная, гемофильная.

Россия всегда была страной высочайшей культуры, но одновременно страной политического бескультурья. К собственной свободе мы отнеслись некультурно. Свобода людей, недостойных свободы, опасна для них самих. Герцен писал: «Нельзя людей освобождать больше, чем они освобождены внутри».

Я бы хотел, чтобы мы взглянули в зеркало истории и увидели бы там только такие собственные лица и лица наших детей, на которые не стыдно смотреть.

За что не стыдно

За что нам стыдно, мы все знаем.

Но разве нам должно быть стыдно за то, что мы избавили человечество от страха третьей мировой войны (хотя любой матери, теряющей сына, все равно, где она его потеряла – на мировой войне или на локальной, где-нибудь в Чечне или в Таджикистане).

Нам не должно быть стыдно за то, что мы больше не боимся «черного ворона», который может любого из нас увезти на Лубянку или в психушку (хотя мы боимся быть ограбленными и убитыми на улице или в собственном доме).

Нам не должно быть стыдно ходить в любую церковь, мечеть, синагогу или костел, и тебя никто за это не будет преследовать (хотя многие из самих священников нетерпимы к другим религиям).

Все это, конечно, очень несовершенно, а порой и хрупко. Но не надо забывать, что ВСЕГО ЭТОГО НЕДАВНО НЕ БЫЛО И НЕ МОГЛО БЫТЬ.

Нам не надо возвращаться ни в наше давно, ни в наше недавно.

Нам надо думать о том, чего еще не было, но должно быть.

История показывает, что один и тот же человек в разных периодах может быть пробудителем общества, а затем сам может стать тормозом разбуженных им сил. События очень часто обгоняют людей, которые были во главе событий. В истории важно не только вовремя появиться, но и вовремя уйти, желательно передав бразды правления в надежные руки. Уровень демократии определяется именно спокойствием передачи власти.

В истории России еще не случилось такого естественного плавного перехода.

19 августа 1991 года прошлое хотело опять въехать на танках в настоящее и будущее России. Ельцин сыграл тогда историческую роль. Тогда я не мог представить, что начнется война в Чечне и я откажусь получать орден «Дружбы народов» из рук президента, отдавшего приказ о начале этой войны. Я не мог представить, что в 1993 году российские танки в центре российской столицы начнут палить по российскому парламенту.

Сергей СВИНЦОВ

с этим человеком года три назад. Он уже тогда занимал крупную государственную должность, хотя ютился в крошечном кабинете.

Во время разговора я процитировал ему недавно написанные строки:

Не снизойдет спасенье из Москвы.
Оно взойдет по Вологдам,
Иркутскам.
Спасенье будет медленным,
лоскутным,
но прирастут друг к другу
лоскуты.

Он вдруг встрепенулся:

– Где можно достать эти стихи?..

С той поры много воды и крови утекло, а на него было вылито много ушатов грязи. Его то снимали, то назначали, то переназначали. В одной газете его назвали «обманщиком народа». Он эту нелюбовь переносил с достоинством. Я, правда, плохо его знал, но, кажется, он не подходил под это определение. А вдруг, не желая никого обмануть, он обманулся сам? Разве история порой предательски не обманывает даже самых умных людей? Для того чтобы понять другого человека, надо представить себя в его шкуре, на его месте. Мы с непозволительной легкостью называем чужие ошибки злым умыслом. Сталинская паранойя сидит даже в антисталинцах.

На сей раз мне пришлось его немного подождать.

В прихожей на вешалке был готов к дороге костюмный мягкий чемодан на молнии – сразу после разговора со мной этот человек должен был лететь на похороны студенческого друга, убитого снайперской пулей.

– Вы были на открытии нового стадиона? – спросил я в середине разговора.

– Мне не до футбола, – сказал он, не жалуясь, но невесело.

– Новый стадион красив, ничего не скажешь, – сказал я. – А вот играли наши со сборной мира позорнейше. Знаете, какая метафора у меня возникла: Россия с ее бескрайними просторами – это, в сущности, гигантский прекрасный стадион. На таком стадионе нельзя играть плохо. А мы этот стадион позорим...

– А что нужно сделать, чтобы играть лучше? – спросил он, смертельно устало, но внимательно.

– Нужны слова. Посмотрите на иностранных спортсменов – с какой самозабвенностью они шепчут на стадионах слова своих национальных гимнов, когда поднимается их флаг. А мы уже столько лет мычим наш бессловесный гимн, аки жвачные животные... Мы не знаем, куда идем и какие у нашего гимна должны быть слова.

– Это вы, писатели, должны писать слова, которые нельзя забыть.

И он неожиданно напомнил мне стихотворение о лоскутном одеяле.

– Вы нашли то мое стихотворение, которое я процитировал вам три года назад? – спросил я.

– О лоскутном одеяле? Конечно, нашел, – ответил он, прощаясь, и добавил: – За многое, конечно, стыдно. Но все-таки подвижки есть...

Я шел по коридору и думал: «Что он за человек? Можно ли быть чистым в политике? Имеем ли мы право окончательно судить о людях, которым, может быть, еще многое удастся сделать? А кто такие мы все? Это когда-нибудь скажет только история...»

Расстаюсь с веком, как сам с собой

О некоторых людях говорят с

206

О двадцатым веком

Книга с выдранными страницами

206

мной. А то, что я писал, казалось, только о себе, – иногда становилось больше, чем только мной. Это как сдвоенная кардиограмма: моя и двадцатого века.

Когда мне было двадцать пять, я расстался с двадцатилетней, редкостно одаренной женщиной, которую любил больше всего на свете. Я написал стихотворение «Со мною вот что происходит», вернее, не написал, а выдохнул. Я не придавал этому стихотворению никакого «общественного значения», считая его очень личным, написанным только для нее и для меня в надежде, что оно нам поможет.

Стихотворение не помогло – было уже поздно. Но едва оно было напечатано, множество молодых людей стали переписывать его от руки, как будто я написал это о них, за них и для них. Потом оно неожиданно чарующе прозвучало по-немецки, переведенное в ГДР, и нечаянно наложилось на тему разделенности уже не двух людей, а целого народа Берлинской стеной. Позднее это, казалось бы, самое интимное стихотворение, независимо от моей воли, начало превращаться в ностальгически гражданское, когда столькие духовно близкие люди оказались географически оторгнутыми друг от друга. Его очень часто просят прочесть наши соотечественники, разбросанные сейчас по всему земному шару – и в Израиле, и в США, и в Австралии, и в Германии. А уж в так называемом ближнем зарубежье особенно горько стали звучать мои строки, написанные тогда, когда я и предположить не мог, что Советского Союза не будет.

О, кто-нибудь,
приди,
нарушь
чужих людей соединенность
и разобщенность близких душ!

Вот как личный дневник порой невольно превращается в дневник века. Невольно, но не случайно.

Выдранные или ненаписанные страницы иногда прирастают.

Родился в рубашке – в смирительной

Если пишешь стихи, достаточно вспомнить хотя бы Данте, Шекспира, Пушкина, чтобы не зазнаться. Но какая самая большая аудитория была при жизни у Пушкина? Человек сто – сто двадцать на лицейском выпускном вечере. Если бы в 1837 году существовал телеграф, то стихотворение Лермонтова на смерть Пушкина было бы перепечатано всеми крупнейшими газетами мира.

Я побывал в 94 странах, и мои стихи переведены на 72 языка.

Жизнь подарила мне такую всемирную прижизненную славу, которая не выпадала на долю поэтов, гораздо лучших, чем я.

Когда мне вручали премию Джованни Боккаччо в Тоскане, я вспомнил мандельштамовское «от молодых воронежских холмов к всечеловеческим, яснеющим в Тоскане», и у меня защемило сердце, как будто я получал что-то, на самом деле предназначавшееся Мандельштаму, замученному в сталинских лагерях.

Почему же это произошло именно с моими стихами, когда я

Из предисловия к будущей книге «Волчий паспорт» (издательство «Вагриус»).

век-волкодав постарел, его зубы начали крошиться. Он еще время от времени бросался на нас, но хватка была уже не та. На наше счастье, эпоха явилась к нам не только в образе волкодава, но и в образе волчицы, выкормившей нас. Шестидесятники – это маугли социалистических джунглей. Я писал не чернилами, а молоком волчицы, спасавшей меня от шакалов.

Сегодня про нас, шестидесятников, порой сквозь зубы говорят, что наша смелость была «санкционированной». Это зависть к тому, как нас любили. Нам никто ничего не дарил – мы брали с боем каждый сантиметр территории свободы.

Обвиненные официальными «патриотами» в недостатке патриотизма «Доктор Живаго», «Летят журавли», поэзия нашего поколения, «Один день Ивана Денисовича», Сахаров на самом деле заставили весь мир взглянуть на нашу страну с уважением и ожиданием.

В этих надеждах нас многие теперь упрекают. Но еще неизвестно, будет ли человеческое лицо у нашего капитализма. Пока что на это непохоже.

А почему, собственно, мы должны ориентироваться только на социализм и капитализм? Почему не на нечто третье, еще не имеющее имени, но, может быть, уже толкающееся ножонками в лоне человечества? И социализм, и капитализм достаточно скомпрометированы. Почему бы не вспомнить сахаровскую идею конвергенции – то есть соединения всего лучшего, что было в этих системах, отвергая их преступления и ошибки?

Я принадлежал к тем, кто подталкивал Россию, как грузовик, застрявший в грязи, но когда нам удалось раскачать ее, она вырвалась из наших рук и стремительно и устрашающе пошла вниз, как с горы.

История обогнала не только Горбачева, но и всех нас вместе с ним, обдав наши лица грязью из-под колес.

Часть либеральной интеллигенции, которая достойно вела себя во времена номенклатурного коммунизма, вдруг с растерянной услужливостью засуетилась перед лицом капитализма. Другая часть либеральной интеллигенции, наивно попытавшись полюбить новую власть, в конце концов отдалилась из-за ее непоследовательности, из-за невыполнения стольких обещаний, из-за войны в Чечне.

Но дистанция между властью и интеллигенцией не менее опасна, чем их слияние. Впрочем, может быть, мы ждем от власти, от политики слишком многого, ибо где-то в глубине многие из нас неизлечимо «советские люди»?

фашизмом не только Василий Теркин, но и Виктор Некрасов, и Лев Копелев, и Булат Окуджава.

Я любил и до сих пор люблю «Интернационал» не как партийный гимн, а просто как песню.

Но в рефрене «кто был ничем – тот станет всем» есть опасная двусмысленность. Если тот, кто был ничем, становится всем, – это страшно. К несчастью, так случилось и после событий августа 1991 года.

Они уже все взяли

19 августа 1997 года мимо Белого дома, пыхтя, но с наслаждением отдуваясь, торжествующе двигалась молодая пара с покупкой. Оба коротенькие, толстенькие, крепенькие, краснощекенькие, – они тащили зеркало в овальной раме из карельской березы, то и дело заглядывая в него и подмигивая своим жизнерадостным отражениям.

В такт их шагам, вздрагивая и подтанцовывая, покачивался Белый дом, который, казалось, мог разбиться вместе с зеркалом, если бы они его уронили. А еще в этом зеркале на мгновение возникла стоящая с несколькими понурыми трехцветными флагами перед железной решетчатой оградой невеселая горстка людей, пришедших отмечать шестую годовщину своей победы. За шесть лет двухсоттысячная толпа, которой я когда-то читал свое стихотворение с балкона Белого дома, съежилась до этой горстки.

Краснощекенькая пара остановилась около своего новенького «Вольво», припаркованного неподалеку, и начала бережно всовывать зеркало в машину, усадив его на заднее сиденье, как почетного пассажира. Другая пара, спортивно-долговязая, с каким-то явно не нашенским, особенно нежным, чуть золотистым средиземноморским загаром, припарковавшая рядом свою «Мазду», заинтересовалась:

– Где это вы такое зеркало оторвали?

Коротышка из «Вольво» охотно ответил с интимной классовой близостью:

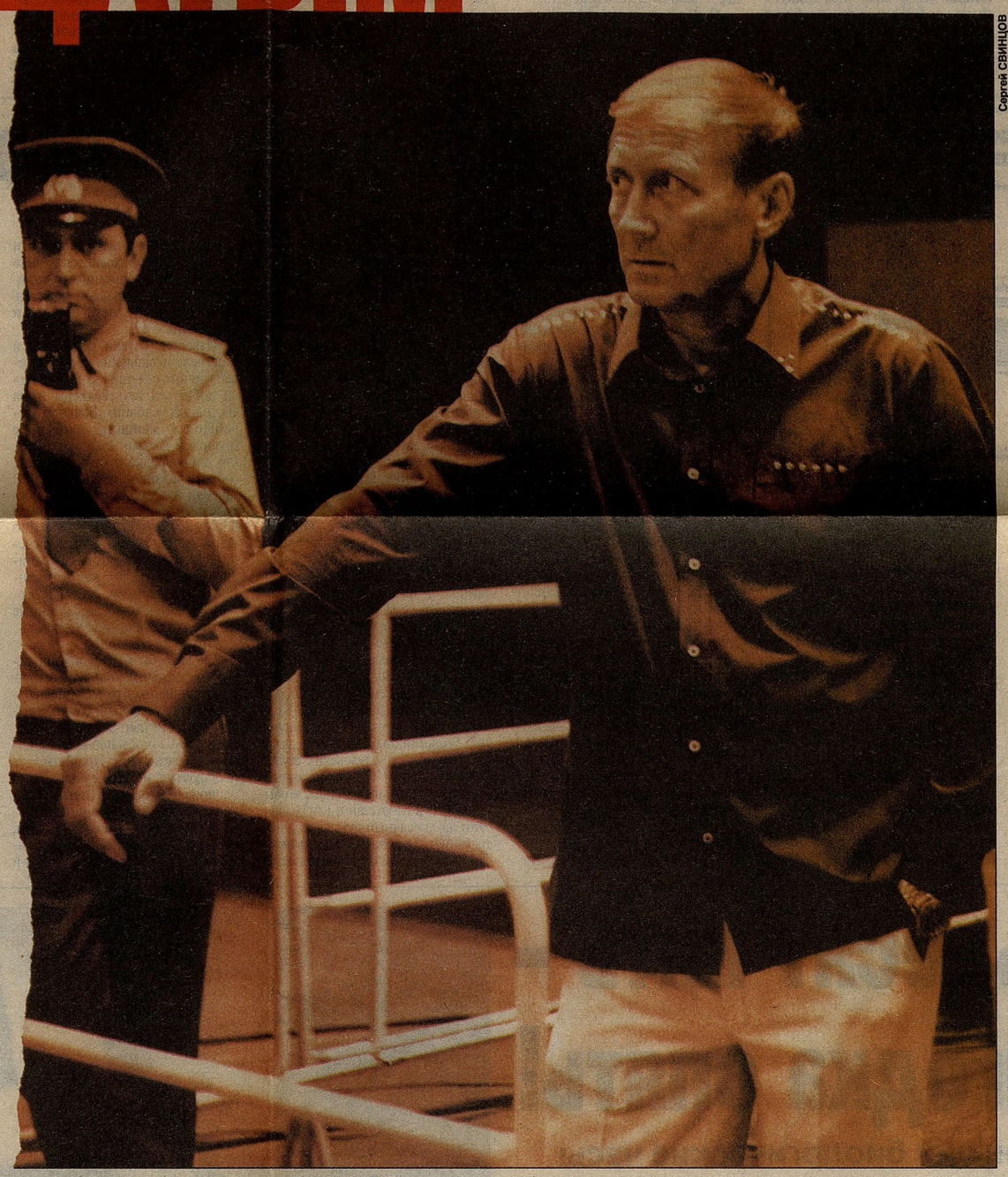
– Да вон в том доме, у одного писателя... А я его в школе когда-то проходил.

И не без гордости назвал одну очень известную фамилию.

И зеркало поехало к новым хозяевам. А я вспомнил о другом зеркале.

Бреясь перед зеркалом Блока

Рассказывали, что когда Александр Блок приехал в свою усадьбу во время революции, которую он сам апокалиптически



Сергей СВИНЦОВ

Ленин назвал Толстого «зеркалом русской революции», этим определением сразу его ограничив до односторонней убогости. Литература – это зеркало и революций, и контрреволюций.

В глубине этого зеркала Россия то со слабовольным безжизненным лицом Николая Второго, то с хитроумно-сумасшедшими глазами Распутина, то с адвокатской жестикуляцией Керенского, то в парике загримированного Ленина, то с трубкой Сталина, сквозь которую дымом вышло больше человеческих жизней, чем в трубы газовых печей Освенцима, то со смекалистой картошинкой хрущевского носа, то с магнетическими глазами-лампочками Горбачева, впрочем, вскоре перегоревшими, то с вырубленным из уральского камня ельцинским подбородком, иногда почему-то кажущимся, по боксерской терминологии, «стеклянным».

Есть русская пословица: «Ненаная часть человечества вдруг увидела, что в направлении указующей со множества пьедесталов руки – тупик, и поспешно начала выбираться из него.

Бойтесь указующих рук, даже если они показывают в сторону, противоположную прежнему тупику. Там с ухмылочкой близнеца-хитреца вас может поджидать другой тупик.

Однажды я наткнулся на фотографию юного царевича Алексея с его добродушно усатым дядькой-матросом. Рядом был велосипед специальной конструкции, чтобы предохранить от падения мальчика, страдающего гемофилией. Но теперь мы знаем то, чего не знает мальчик на фотографии. Мы знаем, что этот дядька-матрос предаст своего воспитанника, присоединится к тем, кто издевался над царской семьей. Но многие из тех, кто расстреливал царскую семью, окажутся расстрелянными сами.

за то, что больше нет только одной-единственной партии, которую мы обязаны любить с детского сада.

Нам не должно быть стыдно за то, что какой-никакой, а все-таки существует выбор при голосовании в Думу или за Президента (хотя порой хочется увидеть в списке кого-то иного, кто, может быть, еще не родился).

Нам не должно быть стыдно за то, что нет политической цензуры (хотя есть цензура коммерческая, переходящая в политическую), за то, что нет очередей в магазинах (хотя есть очереди безработных, ищущих трудоустройства), за то, что нет унизительных выездных комиссий (хотя большинству нашего народа невесело знать, что ты можешь съездить в Париж, но на это не наскребешь денег за всю жизнь).

Нам не должно быть стыдно за то, что, если ты верующий, ты можешь не скрывать свою веру и

У Ельцина есть решающий для его окончательной исторической репутации шанс – создать прецедент плавного перехода власти из рук в руки. Если он выполнит свое обещание и станет первым правителем России, добровольно передавшим скипетр в руки выбранного народом преемника, возможно, вся история России с этого момента изменится.

Не важно, чьи это будут руки – лишь бы они были чистые.

Нельзя играть плохо на таком стадионе, как Россия

Я шел на прием к одному из первых в стране по так называемому рейтингу так называемой общественной ненависти человеку. Последний раз я разговаривал немного подождать.

В прихожей на вешалке был готов к дороге костюмный мягкий чемодан на молнии – сразу после разговора со мной этот человек должен был лететь на похороны студенческого друга, убитого снайперской пулей.

– Вы были на открытии нового стадиона? – спросил я в середине разговора.

– Мне не до футбола, – сказал он, не жалуясь, но невесело.

– Новый стадион красив, ничего не скажешь, – сказал я. – А вот играли наши со сборной мира позорнейше. Знаете, какая метафора у меня возникла: Россия с ее бескрайними просторами – это, в сущности, гигантский прекрасный стадион. На таком стадионе нельзя играть плохо. А мы этот стадион позорим...

– А что нужно сделать, чтобы играть лучше? – спросил он, смертельно устало, но внимательно.

– Нужны слова. Посмотрите на иностранных спортсменов – с какой самозабвенностью они шепчут на стадионах слова своих национальных гимнов, когда поднимается их флаг. А мы уже столько лет мычим наш бессловесный гимн, аки жвачные животные... Мы не знаем, куда идем и какие у нашего гимна должны быть слова.

– Это вы, писатели, должны писать слова, которые нельзя забыть.

И он неожиданно напомнил мне стихотворение о лоскутном одеяле.

– Вы нашли то мое стихотворение, которое я процитировал вам три года назад? – спросил я.

– О лоскутном одеяле? Конечно, нашел, – ответил он, прощаясь, и добавил: – За многое, конечно, стыдно. Но все-таки подвижки есть...

Я шел по коридору и думал: «Что он за человек? Можно ли быть чистым в политике? Имеем ли мы право окончательно судить о людях, которым, может быть, еще многое удастся сделать? А кто такие мы все? Это когда-нибудь скажет только история...»

Расстаюсь с веком, как сам с собой

О некоторых людях говорят с восторженным придыханьем: «О, это человек девятнадцатого века». Про меня так сказать невозможно. Я человек только двадцатого века.

Такой «несовместимый» поэт, в котором революционно-романтические иллюзии так перепутаны с их опровержением, мог появиться лишь во второй половине этого века и лишь в России – не в дореволюционной, а только в советской – однопартийной, трудновыездной. Я благодарен двадцатому веку, потому что другого у меня не было.

Во мне – болезни этого века, его надежды, заблуждения, страхи, его ограниченность, суматошность, и припадки то неуверенности, то мегаломании, и наивная, но, слава Богу, неизлечимая вера в то, что братство людей все-таки возможно.

Мы оба – двадцатый век и я – не подходим ни только под положительную, ни – надеюсь – только под отрицательную мерку. Двадцатый век и меня не разорвешь. По выражению Цветаевой, «мы – сросшиеся».

Главный редактор номера: Владимир КИСЕЛЕВ
Газета зарегистрирована в Мининформпечати РФ 20 августа 1991 г. Рег. № 1054.

© **Общая газета.** Перепечатка допускается по соглашению с редакцией, ссылка на «ОГ» обязательна.

Правовое обслуживание газеты осуществляет Адвокатское Бюро «Резник, Гагарин и Партнеры» МГКА.
Дизайн-макет: Семен ЛЕВИН, Борис МИРОШИН.
Арт-директор: Сергей МОРЕЙНО.
Отдел распространения: Людмила ЛИР. Тел.: 915-53-89
Отдел рекламы: Сергей ФИЛИППОВ Тел.: 915-75-23; Т/ф: 915-51-80, 915-26-06
Отдел маркетинга: Тел.: 915-53-81

Адрес редакции: 109240, Москва, ул. Гончарная, д. 1.
Справки по телефону: 915-22-88;
факс 915-51-71,
e-mail: ogtech @corbina.ru

Наш подписной индекс: 32138

ОБЩАЯ ГАЗЕТА

Адрес «Гостиной «ОГ»: 121151, Москва, Кутузовский пр., д. 22
Электронная версия «ОГ» в Internet: www.park.ru; www.nns.ru;
в базе данных: www.integrum.ru

Общий тираж «ОГ» – 264800 экз. (региональный – 190000 экз.).
Цена свободная.
Розничное распространение в Московском Метрополитене – Агентство в С.-Петербургском Метрополитене – ООО «МЕТРОПРЕСС»
МЕТРОПРЕСС
Вёрстка компьютерного центра «Общей газеты».
Технический директор Валерий МАКАРОВ.
Отпечатано в типографии издательства «Пресса», 125865, ГСП, Москва-137, ул. Правды, 24.
Номер подписан в печать 21.1. 98 г.
Заказ 1104.

Редакторат: Владимир КИСЕЛЕВ, Анатолий КОСТЮКОВ, Юрий ПАТРИН, Анна ПОЛИТКОВСКАЯ, Юрий СОЛОМОНОВ, Ольга ТИМОФЕЕВА, Игорь ШЕВЕЛЕВ, Егор ЯКОВЛЕВ. **Секретариат:** Елена БОГОМОЛОВА, Евгений СЕМЕНОВ, Ирина ДЕМЕНТЬЕВА (литературный редактор). **Руководители направлений:** Игорь АНДРЕЕВ (информация), Алексей БАУСИН (международная жизнь), Сергей ВАРШАВЧИК (СМИ), Наталья ГРИГОРЬЕВА (город), Елена КОКУРИНА (наука), Наталья КРАМИНОВА (этика), Виктор МАТИЗЕН (мировоззрение), Оксана ПОЛОНСКАЯ (спорт), Елена СКВОРЦОВА (право), Софья СТАРЦЕВА (письма). **Представители за рубежом:** Николай АЛЕКСАНДРОВ, Федор РЮРИКОВ (Прага), Сергей БОРИСОВ (Алма-Ата), Эдуард ГОВОРУШКО (Рига), Лариса ДЯЧУК (Киев), Александр ЖУРБИН (Нью-Йорк), Наталья ЛОПАТИНСКАЯ (Вильнюс), Борис ПАНКИН (Стокгольм), Аркадий РОММ (Одесса), Алексей СЛАВИН (Берлин), Армен ТИГРАНЯН (Ереван), Алексей ХАЗОВ (Рим), Вера ЦЕРЕТЕЛИ (Тбилиси), Борис ШЕСТАКОВ (Будапешт). **Исполнительный директор** Наталия КЛОЧКО. **Финансовый директор** Дмитрий ШАЛИН.

109